

ISSN 0042-8779

ИВМ

**ВОПРОСЫ
ИСТОРИИ**

12

2017

ВОПРОСЫ ИСТОРИИ

12/2017 ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

12+

СОДЕРЖАНИЕ

СТАТЬИ

- Н.П. Лигенко** — Формирование предпринимательского капитала в российской провинции во второй половине XIX — начале XX в. 3

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ

- В.А. Виталь** — Иван Яковлевич Лайдонер 25

СООБЩЕНИЯ

- А.А. Слезин** — «Легкая кавалерия» комсомола на рубеже 1920-х — 1930-х гг. 36

- В.Г. Кикнадзе** — Развитие радиоразведки отечественного Военно-Морского Флота в первой половине XX в. ... 47

- П.А. Мистрюгов** — Судьбы «бывших» в российской провинции в годы гражданской войны (1918—1920 гг.) 61

- А.В. Тырсенко** — На пути к Брюмеру 74

ДИПЛОМАТИЯ В ИСТОРИИ

- И.А. Искендеров** — Великие державы и становление албанской государственности ЮЗ — 1914 гг. 86

Выходит
с 1926 года

ООО
ЖУРНАЛ
«ВОПРОСЫ
ИСТОРИИ»
Москва

ДИСКУССИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

- А.И. Тетуев** — Региональные особенности демографических и миграционных процессов в российском обществе 94
- Э.Г. Задорожнюк, И.Е. Задорожнюк** — Становление истории идей: три труда между двумя войнами и двумя революциями 99

ИСТОРИЯ И СУДЬБЫ

- Г.Б. Избасарова** — М.В. Ладыженский как один из разработчиков региональной политики Российской империи ... 112

ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

- Е.Д. Гордина** — Детские дома в Горьковской области в послевоенный период (1946—1948 гг.) 123
- С.Е. Виноградов** — Попытка создания в России большого ковочного завода в 1915—1917 гг. 129
- Е.Б. Касаткина, А.А. Машковцев** — Польские и кавказские ссыльные в Вятской губернии во второй половине XIX — начале XX в. 137
- Документ Центрального государственного архива Республики Дагестан о рабстве в Дагестане в начале 1860-х гг. Публикация подготовлена **Г.М. Гусейновым и Х.М. Доного** 145
- Б.Б. Керимов** — Административная система управления Ленкоранского уезда в XIX — начале XX в. 149
- В.Р. Вейсалова** — К вопросу об искусственном орошении в Азербайджане в конце XIX в. 155

ИЗ ИСТОРИИ РЕЛИГИЙ

- В.В. Иванов** — Споры о евхаристии и «религиозное собеседование» в Марбурге 1529 г. 161
- Алфавитный указатель материалов, опубликованных в журнале в 2017 году 171

Становление истории идей: три труда между двумя войнами и двумя революциями

Э.Г. Задорожнюк, И.Е. Задорожнюк

Аннотация. В публикации дан анализ роли трех фундаментальных трудов: Иванов-Разумник «История русской общественной мысли»; Т.Г. Масарик «Россия и Европа» и Г. Плеханов «История русской общественной мысли», заложивших основы отечественного варианта истории идей. Эта область связана «с изучением генезиса, становления, распространения и трансформации различных продуктов мыслительного труда» человечества и составляющих его народов. Как синоним используется термин «интеллектуальная история». Сегодня приоритеты ее основания приписываются американскому философу А. Лавджою (1873—1962), участие же отечественных исследователей в ее становлении замалчивается.

Ключевые слова: история идей, интеллектуальная история, интеллигенция и мешанство, русская общественная мысль, Россия и Европа, ментальность, идеологизация.

Abstract. The role of three fundamental works is analyzed: Ivanov-Razumnik «History of Russian Social Thought», T.G. Masaryk «Russia and Europe» and G. Plekhanov's «History of Russian Social Thought», as laying the foundations of the domestic version of such a subject area as the history of ideas. It is connected «with the study of the genesis, formation, distribution and transformation of various products of the intellectual labor» of humanity and its constituent peoples; as a synonym the term «intellectual history» is used. Today, the priorities of its foundation are attributed to the American philosopher A. Lovejoy (1873—1962), while participation of domestic researchers in its development is hushed up.

Key words: history of ideas, intellectual history, intellectuals and the petty bourgeoisie, the Russian public opinion, Russia and Europe, mentality, indoctrination.

Любой исследователь, занимающийся историей идей или же интеллектуальной историей, не может и не должен пройти мимо трех фундаментальных трудов: Иванова-Разумника «История русской общественной мысли» (первое издание

Задорожнюк Элла Григорьевна — доктор исторических наук, заведующая Отделом современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы, Институт славяноведения РАН. E-mail: elzador46@mail.ru; *Задорожнюк Иван Евдокимович* — доктор философских наук, заместитель заведующего Отделом социально-гуманитарных журналов, НИЯУ МИФИ. E-mail: zador46@yandex.ru.

Zadorozhnyuk Ella G. — doctor of historical science, head of the Department of contemporary history of Central and South-Eastern Europe, Institute of Slavic Studies RAS. E-mail: elzador46@mail.ru; *Zadorozhnyuk Ivan Je.* — doctor of philosophical science, deputy director of the Department of social and humanitarian journals, National Research Nuclear University (MEPhI). E-mail: zador46@yandex.ru.

в 1906 г.; последнее (седьмое) в 1997 г.), книги Т.Г. Масарика «Россия и Европа» (на немецком языке вышла в 1913 г., русский перевод в 2000—2003 гг.; название Масарик «заимствовал» у Н. Данилевского, который в 1871 г. выпустил историософский труд «Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к романо-германскому») и Г. Плеханова «История русской общественной мысли» (написана в 1909—1914 гг., выпущена 1914—1916, а повторно в 1918—1919 гг.)¹. Они, на наш взгляд, и заложили основы отечественного, а во многих отношениях не только отечественного варианта данной предметной области.

Терминологически история идей трактуется сегодня как «поле современного исторического знания, связанное с изучением генезиса, становления, распространения и трансформации различных продуктов мыслительного труда в интеллектуальной культуре человечества»; в научном обороте в качестве синонима используется термин «интеллектуальная история». Трансформация идей касается не только оформленных учений, но и «мыслительных привычек», затрагивая проблематику стилей и способов мышления больших групп людей и сближаясь с историей ментальностей. История идей однако «не сводится к исследованию национальных традиций мысли, она, подобно сравнительному литературоведению, призвана выявлять общие тенденции в интеллектуальной культуре, отвлекаясь от языковых и региональных различий»².

Тем не менее национальные варианты истории идей присутствуют, а значит возникает вопрос: какие из них оформились первыми. На наш взгляд, это был русскоязычный ее вариант. Трехтомники Иванова-Разумника и Масарика обратили на себя большее внимание. При этом произведение Иванова-Разумника можно идентифицировать как работу именно по истории идей. В ней дано и авторское определение данной предметной области как «совокупности знаний об исторических условиях появления общественных идей в связи с личностными судьбами их носителей, о культурном контексте их возникновения и эволюции»³.

Трехтомник Плеханова был менее популярен. Надо отметить, что В.И. Ленин перечитывал Плеханова реже, чем Маркса, однако понимание первым реалий русской истории, а на ее фоне — истории идей, ценил высоко. Не случайно он ратовал за ознакомление с трудом Плеханова, несмотря на усиливавшиеся между бывшими соратниками-марксистами идеологические отчуждения. Так, не без его благословения все три выпущенные в 1918—1919 гг. тома «Истории...» (в 1914, 1915 и 1916 гг.) хотя и были даны в дореволюционной орфографии, но подчеркивалось, что цену на них поднимать нельзя. А вот их ценность с годами лишь возрастает. Нельзя не согласиться с одним из плехановедов, С. Тютюкиным, который, опубликовав в 2010 г. части из «Истории...», пишет в своих комментариях: «новаторская и очень интересная работа»; в ней Плеханов «хотел быть в первую очередь ученым, а потом уже политиком и идеологом»⁴.

И все-таки указанные работы не числятся по ведомству отечественного варианта предметной области истории идей — их сдвигают в тень ее иноязычные варианты. Если ознакомиться с современной литературой, то легко заметить, что ее основание приписывается американскому философу А. Лавджою (1873—1962), причем особо громко говорится об этом в последние четверть века. Одна из задач истории идей в его трактовке — попытка применить особый аналитический метод для понимания того, как рождаются идеи, появляются новые верования и интеллектуальные веяния, объяснить их трансформацию, пролить свет на то, почему учения, господствующие в одном поколении, в другом теряют власть над умами. Особенно, на наш взгляд, Лавджою удалось описание процессов своеобразной материализации идей. Так, оформившаяся в

Англии еще в XVII в. идея естественности воплотилась сначала там, а затем на континенте в моде на ландшафтные парки. После 1730 г. они появились во Франции и Германии. Отсюда возможность вывода тамошних романтиков: мир — это огромный *englisch Garden* (английский сад). Идея же естественности, обогатившись новыми красками, добралась и до России. В значительной степени это просматривается в истории литературы, представляющей пункты фиксации, которые воздействуют на движение идей; при этом важно и то, как они воздействуют на воображение, эмоции и поведение людей ⁵.

Подобного рода наблюдения американского ученого конечно не охватывают всей предметной области истории идей. Более того, и книги Лавджоя, и посвященные ему десятки статей, диссертаций, других разработок на фоне забвения указанных отечественных трудов сегодня можно трактовать как проявление своеобразного «информационного империализма», выводя за скобки политические аллюзии на этот термин.

Нами использовалась данная метафора для характеристики процедур и результатов при определении рейтингов вузов, когда отечественные университеты, в первую очередь МГУ, и технические вузы, выпускники которых востребованы на Западе, отодвигаются в общем списке в третью или четвертую сотню ⁶. При этом забывается не только русский вклад в историю идей, но игнорируется и тот факт, что предметная область *Ideengeschichte* разрабатывалась, в том числе, и видными немецкими мыслителями — Ф. Мейнеке (1892—1954) и его последователями, и что большинство разработчиков англоязычной версии так или иначе были связаны с Германией. В биографии Лавджоя указывалось, что этот сын американского миссионера и немки родился и провел младенческие годы в Германии. Вряд ли стоит переоценивать значение этого факта, но и полностью игнорировать его также нельзя. «Немецкий след» просматривается в биографии и других представителей данной предметной области. Л. Спицер (Шпитцер, 1867—1960) приобрел известность как австрийский философ перед своей эмиграцией в Америку. Р. Уэллек (1903—1995) родился в Вене, окончил Карлов университет в Праге, но также продолжил свою научную деятельность в Америке. Близок к ним И. Берлин (1909—1997), родившийся в России, чья переведенная на русский язык в 1980 г. книга именовалась так: «Против течения. Очерки истории идей» ⁷.

Обратимся к биографии и трудам Ф. Майнеке. Этот историк и философ в сборнике написанных в 1920—1930-е гг. статей «Об историческом смысле и смысле истории» (1939) подчеркивал роль «идеи индивидуальности» и «идеи развития», ставя акцент в их толковании не только на «внешнем» объяснении, но и на «внутреннем», «живом» понимании, включающем фантазию, интуицию, ощущение, сочувствие, любовь. Мейнеке писал о «примате духовности» как в философии и поэзии, так и в политической истории. Его немецко-, а затем и англоязычные ученики разрабатывали предметную подобласть — социальная история идей (*Sozialgeschichte der Ideen, Social History of Ideas*). Они, конечно же, воспринимали историю идей не совсем по Лавджою.

Понятие же «*Ideengeschichte*» впервые на немецком языке было употреблено литературоведом и историком культуры А. Корфом в 1923 г. в первом томе его изысканий о временах Гёте, заключительный том которых вышел только в 1965 году ⁸. Согласно Корфу, история идей базируется не только на истории литературы, но и на учете резонансов от высказываемых идей. Они побуждают изменения в обществе: от культурных сдвигов и до появления новых языковых форм. Немецкий автор удачно выбрал для репрезентации данного понятия именно период «*Sturm und Drang*» («бури и натиска»). Это период ознаменовался поначалу литературным бунтом 1770—1780-х гг., обернувшимся поворотом в общественной мысли: стали прославляться и внедряться

в жизнь мещанские добродетели (употребляем это выражение без негативных коннотаций), звучали призывы к национальной самобытности, допускались и протесты против деспотизма — религиозного и светского. В данной атмосфере выросли идеи Шиллера и Гёте, чей роман «Страдания молодого Вертера» (1774) породил некую эпидемию самоубийств, что тоже служило подтверждением феномена иррадиации идей: от литературы в жизнь. Однако только в 2007 г. был учрежден немецкоязычный журнал «Zeitschrift für Ideengeschichte». К этому времени в Германии определились и другие подобласти истории идей: политическая, юридическая и даже приватная.

Существуют и другие западные школы истории идей, к примеру, английская⁹; трудно игнорировать и роль французских мыслителей в становлении этой предметной области. Что касается отечественного варианта истории идей, то некоторые ученые ведут ее начало с перелома столетий, но не XIX и XX, а XX и XXI, что вряд ли справедливо. Среди них следует отметить Санкт-Петербургский центр истории идей, основанный в 1995 г., подготовивший специализированный выпуск альманаха «Философский век» (СПб. 2001, № 14) под названием «История идей как методология гуманитарных исследований», и Общество интеллектуальной истории в Москве, издающее журнал «Диалог со временем».

В настоящей публикации мы попытаемся показать, а по возможности и доказать, что упомянутые труды заложили основу отечественного варианта истории идей, и после почти столетнего умолчания восстановить историческую, историографическую и методологическую справедливость. Перед этим отметим: в первом выпуске издания «История и историки», созданном по инициативе М. Нечкиной, однозначно указывалось, что «без истории мысли наука превращается в грудку фактов»¹⁰. Можно трансформировать этот вывод: без истории идей в грудку фактов превращаются некоторые социальные науки.

Книга Иванова-Разумника впервые появилась в 1906 г., а затем издавалась еще 6 раз, последний — в 1923 г. в Берлине как двухтомник в сокращенном виде. В 1997 г. издательство «Республика» выпустило ее в виде трехтомника (по изданию 1918 г.). В книге обосновывалась идея интеллигенции, носителями которой выступали ориентированные на индивидуализм высоко нравственные личности, и подчеркивалась ее борьба с идеей мещанства, которую репрезентует «сплоченная посредственность». Идея интеллигенции содержится в ряде теорий: мистической теории прогресса (20—30-е гг. XIX в.), позитивной теории прогресса (40-е гг.), утилитаризма и нигилизма (60-е гг.), «имманентного субъективизма» Лаврова и Михайловского (70-е гг.), в новых версиях теории прогресса (легальные марксисты) и мистической теории прогресса (90-е гг.). Последняя ведет к воспроизведению на новой основе имманентного субъективизма (межреволюционное «скифство» ряда писателей и поэтов; Иванов-Разумник, следуя А. Герцену, признавал, что оно в огне революции может спасти от вымирания «мещанскую» Европу).

Парадоксально, но в концепт-метафоре Иванова-Разумника этико-социологический индивидуализм означает как раз «служение обществу в его идеальных, то есть просветленных правдой, началах»¹¹. Еще в 1934 г. автора упрекали в том, что он осуществил «отрыв истории идей от истории людей, мыслей от их реальных носителей, осуществляя процесс “идеологизации истории”»¹². В этой связи следует подчеркнуть три обстоятельства: во-первых, в приводимой энциклопедической статье термин «история идей» скорее проговаривается, чем определяется; во-вторых, Иванов-Разумник как никто другой сближал идею с профилем ее носителя; в-третьих, кто на самом деле осуществлял «идеологизацию» истории, так это марксисты — противники присущего ему «скифского начала». Хорошо, что даже в таком виде термин «история идей» — уже в ходе

выпуска работ А. Лавджоя и Ф. Мейнеке — соотносился с именем Иванова-Разумника.

Последователей идей индивидуализма можно найти в любом социальном классе, поэтому марксистский классовый подход для него неприемлем. Во времена его укоренения в русской общественной мысли, по Иванову-Разумнику, доминировало убеждение: «Чем хуже теперь реальной личности, тем лучше потом будет обществу — с таким резким индивидуализмом мы редко встречались за всю историю русский интеллигенции в XIX веке»¹³. Тем самым, марксизм приравнивался к высшей ступени мещанства. Но как раз в нем Плеханов обвиняет самого Иванова-Разумника, при этом оба одинаково славят Чернышевского, а дальше говорят об эклектизме идейной жизни после него. В целом же все трое ищут логику в некотором отходе от устоявшейся логики. Думается, эта параллельность детерминируется исследовательскими паттернами (образцами) как раз истории идей — даже если этого не признают ее разработчики.

Плеханов назвал Иванова-Разумника (иронично именуя его в ленинском духе Ивановым-Затейником) «мещанином нового времени» в рецензии на его «Историю...», за что, естественно, удостоился того же звания. Это не столько взаимные обвинения, сколько рефлексивные действия, когда человек ставит себя на место другого. Конечно же, Плеханов — сам отчаянный индивидуалист: он не побоялся пойти против чернопередельцев, став на позиции марксизма в молодости; выступить против диктатуры Ленина, не страшась оказаться в «меньшинстве» в зрелости; занял позицию оборончества в ходе первой мировой войны; наконец, конфронтировал с советской властью после возвращения в революционную Россию.

«Ругая» своего оппонента за потворство принципу индивидуализма, Плеханов делает примечательное (на наш взгляд, самое яркое в этой довольно скучной статье) наблюдение: «Усиленная разработка личности привела к тому, что русская интеллигенция в своих взглядах на некоторые вопросы личных отношений опередила современную интеллигенцию Западной Европы. Говорят, что знаменитая на всемирном рынке русская кожа — *cuir russe* — обязана своим общепризнанным превосходством тому, что в России скот гораздо хуже питается и вообще живет при худших гигиенических условиях, нежели в других странах. Если это верно, то причина превосходства русской кожи отчасти напоминает (я не говорю о полном сходстве) ту, благодаря которой мы, русские интеллигенты, превосходим интеллигентов Запада по части вопросов личных отношений: нас плохо кормила мачеха-история. Однако наличность добра во всяком худе еще не делает худа — добром»¹⁴. Противостояние двух отечественных представителей предметной области «история идей» весьма интересно: чего не договаривал один — договорил другой, да и в хронологическом плане книги дополняют одна другую: Иванов-Разумник начинал с «преддверия XIX века», которым Плеханов заканчивал.

Что касается трехтомника Масарика, то он также в основном ориентирован на массив русской литературы и адресован, судя по пожеланиям автора, русскоязычному читателю, до которого, однако, он дошел в полном виде почти столетие спустя. В нем шире привлекались философские построения, четче анализировались политические противостояния носителей идеи России с носителями идеи Европы. Хронологические рамки исследования: от идеи Москвы как третьего Рима — до взглядов носителя ультраиндивидуализма Б. Савинкова (Ропшина).

Часто говорилось и о политической ангажированности труда «Россия и Европа» Масарика: он находился в поле зрения и противника России — Германии, и ее союзника — Великобритании. «Крупный славист Сетон-Уотсон заметил, что она была одной из настольных книг специалистов генерального штаба

германской армии. Сам Сетон-Уотсон приложил немало усилий, чтобы она появилась и на английском языке в 1919 году, — вряд ли можно сомневаться в том, что и у специалистов по “загадочной России” она тоже находилась на столе»¹⁵. И все же глубинное понимание сущности соотношения России с Европой достигнуто не было ни ее союзниками, ни ее противниками (начавшими меняться местами), что вело к политическому непониманию сути происходивших событий. Вывод, вытекающий из данного исследования, заслуживает уважения — автор признает неотвратимость революции и призывает считаться с ее результатами в самые непредсказуемые времена¹⁶.

Масарик отыскивает философские корни противостояния идей России и Европы в том, что он именуется этизированной, то есть не усвоившей идей Канта, гносеологией русских писателей и мыслителей, склонных к «неорганическим колебаниям между платонизмом и нигилизмом»¹⁷. В плане сугубо этическом указанное колебание модифицируется в противостояние религиозного объективизма (и порождаемой им социальной пассивности) и принципа индивидуализма; о его доминировании как раз и писал Иванов-Разумник, на что Масарик почему-то не указал¹⁸.

Как раз поэтому, считает Масарик, Н. Михайловский прямо провозглашал лозунг борьбы за индивидуальность — вплоть до анархизма. «Философия и теология вступили в большую битву за Бога, причем Бога, явленного в откровении; откровение и традиция или опыт и наука — вот как стоит вопрос»¹⁹. И здесь трудно удержаться от уточнения. Михайловский, а ранее П. Лавров выступали за субъективный метод в социологии как раз в сочетании с объективным анализом социума. Он был «забракован» марксистами, начиная с Плеханова, но вот парадокс: как раз субъективный метод в интерпретации П. Сорокина обновил сначала американскую, а затем и мировую социологию.

В плане политической философии, продолжает Масарик, в России постоянно шла борьба идей теократии и демократии, причем первая имела тенденцию стать цезарепапизмом, а вторая — атеистическим волюнтаризмом. Масарик пишет: «В России, как и повсюду, теократический абсолютизм пытался насильственно удержать подданных от какой-либо социально-политической активности; оторванность аристократии и правящих династий от рядовых людей вызвала нравственное и биологическое вырождение, что повсеместно приближало революцию. Однако аристократизм и абсолютизм, как правильно подчеркивал Герцен, возникли не только из насилия, но также из всеобщего признания, из образа мышления»²⁰.

Расхождение принципов абсолютизма и революционаризма и определяет, согласно чешскому мыслителю, всю историю идей России в XIX — начале XX века. Масарик особо подчеркивает рельефность противостояния триады С. Уварова (православие, самодержавие, народность), выводимой не столько из философских постулатов, сколько из политических потребностей, этой «альфы и омеги официальной государственной мудрости вплоть до наших дней»²¹, с одной стороны, и материалистического радикализма, тоже не столько мыслительного принципа, сколько политического оружия — с другой. При этом теократический абсолютизм был неприемлем уже в ходе своего возникновения: интерес к наиболее радикальным идеям Запада детерминировался не столько потребностью познания, сколько необходимостью обоснования политических действий против него. Санкционированная же монархией оторванность аристократии от рядовых людей часто преодолевалась самими аристократами, точнее — их активной частью в лице представителей классической русской литературы или же когорты «кающихся дворян» — одного из побочных произведений этой литературы.

Но эти же аристократы весьма прохладно относились к идеям конституционализма и парламентаризма, продолжает Масарик, причем надо добавить:

не только они ²². В целом идея революции постоянно наталкивалась на идею охранительства. И часто выдающиеся русские мыслители «кланялись» именно ей: начиная от В. Печерина и Ф. Достоевского и заканчивая «веховцами». Масарик весьма тщательно проанализировал эту метаморфозу, конечно же, принимая новые видообразования и в современной ему России.

В итоге, продолжил Масарик, хотя русские могут стать — и стали с 1905 г. — весьма революционными, но не превратились в более демократичных. Идея революции в России всегда была на повестке дня, причем в практическом аспекте в не меньшей степени, чем в теоретическом. Реакция Александра I и Николая I на нее разделила русских мыслителей на два лагеря. Революционное направление началось с Радищева и Пестеля, эстафета была подхвачена Белинским, Герценом, Бакуниным, Чернышевским, Добролюбовым и нигилистами, затем террористами, особенно из «Народной воли», Лавровым, Михайловским и, наконец, марксистами, с одной стороны, и Кропоткиным — с другой. В числе антиреволюционеров были не только Печерин, Достоевский, но и многие другие. Поражение революции 1905 г. породило новую волну охранительства.

По мнению и даже убеждению Масарика, Россия, даже отставая, следует европейским путем, а Европе, в свою очередь, есть чему поучиться у русских. Приведем весьма примечательные в этом плане заключительные абзацы второго тома труда Масарика (третий том состоит из подготовительных материалов к портретам отдельных писателей и мыслителей). «Обширная европейская литература о России, — утверждает Масарик, — доказывает, что философский интерес к этой стране и к возможностям ее развития существует. Этот интерес растет, так что сейчас можно говорить о русификации Европы в не меньшей степени, чем об европеизации России. Это сказывается не только в постоянно увеличивающемся с XVIII в. политическом влиянии России в Европе, но и в заинтересованном восприятии русской литературы, которая способствовала вовлечению читающих европейцев во внутренние проблемы этой страны. Мы помним, что прославляли Россию Вольтер и Гердер, сегодня к ним присоединились Ницше и Метерлинк, а также многие другие писатели, воспринявшие русские идеи и идеалы. Да, социолог и философ истории многому может научиться в России» ²³.

Остается добавить, что написанное более 100 лет тому назад произведение являет собой классику сопоставления идеи России и идеи Европы. Это побуждают пристальнее рассмотреть и современную ситуацию их взаимного отвержения с тем же допущением, что подобное не может не быть деструктивным для развития и западной, и восточной частей континента.

Говоря о наименее освещенной трехтомной работе по истории идей, стоит отметить, что уже с первой ее страницы Плеханов заявляет, что бытие определяет сознание. Но нарочитость данного утверждения не всегда подтверждается фактурой и логикой изложения. История идей в этом плане предстает неким инвариантом: те или иные идеи соскальзывают с бытийственных структур (как у Плеханова) или с субъективных предпочтений (как у Иванова-Разумника), но в дальнейшем начинают жить самостоятельной жизнью.

Здесь же Плеханов определяет методологическую доминанту своего труда: «мой анализ привел меня к тому выводу, что нелогичность, нередко проявляемая русскими идеологами, объясняется в последнем счете логикой западноевропейского общественного развития» ²⁴. И сразу же в тексте введения уточняется: «Научное исследование истории мысли, — и всех вообще идеологий, — только потому и делает некоторые успехи, что исследователи начинают осознавать причинную связь между “ходом вещей”, с одной стороны, и “ходом идей” — с другой» ²⁵.

Фактура же говорит о другом. Казалось бы, анализ отношений духовной и светской властей в Киевской Руси, а затем — с некоторыми перерывами в изложении — уже в Руси Московской по линиям противостояния боярства с дворянством, дворянства с духовенством, царя с боярством и т.д. демонстрирует продуктивность классового подхода. Но блистательное рассмотрение выводимого из этих противостояний феномена Смуты, которая осложнялась иностранной интервенцией, показывает недостаточность такого подхода. «Смута принудила людей Московского царства к самодеятельности. Но их вынужденная самодеятельность ярче всего выразилась в восстановлении и упрочении “вотчинной монархии”, главнейшая отличительная черта которой определилась уже во второй половине XVI-го века»²⁶, — констатирует автор. Заканчивается первый том историческими портретами «первых западников»: князя И. Хворостинина, В. Ордин-Нащокина (сына знаменитого дипломата), Г. Котошихина и Ю. Крижанича, которого Плеханов соотносит со «славянофильским, — точнее — панславистским направлением»²⁷.

Времена Смуты и рассмотренного уже во втором томе «верховенчества» носят в чем-то инвариантный характер. Если в первом случае на передовые позиции выходили самозванцы, то во втором — та часть аристократии, которая стремилась расширить свои права за счет сужения власти самодержавия. Против и тех, и других выступали силы консервативной ориентации. Не только претенденту на московский престол королевичу Владиславу, но и Лжедмитрию боярство (часть высшего и большинство среднего), а также купечество и «черная сотня» (без негативных коннотаций — Кузьма Минин из Нижнего Новгорода как раз к ней и принадлежал) противопоставили «своего царя» и возвели на трон Романова. Как бы параллельно, при опоре на часть того же боярства и шляхетства, но с привлечением иностранцев, были устранены верховники, претендовавшие на ограничение самодержавной власти Анны Иоанновны²⁸.

В ракурсе соотношения идей России и Европы весьма продуктивен взгляд Плеханова на исторических деятелей России прошлого. Так, по его мнению, В. Голицын — фигура «переходного времени, когда в Московском государстве польское влияние боролось с “немецким” и было сильнее его»²⁹. В библиотеке князя были книги на обоих языках, он знал и латынь, вел на равных переговоры с иностранными дипломатами. Его замыслы реформ ориентировались на западные образцы, на планы, сходные с петровскими, но несходство политических предпочтений привело к опале приверженца, скорее, польского, чем немецкого начала, и этот «московский князь-западник», «родоначальник русских западников»³⁰ был сослан.

На примере рассмотрения фигуры носителя одного из вариантов западных идей — Голицына — видно некое противоречие во взглядах Плеханова. С одной стороны, он присягает на верность марксистскому тезису о первенстве общественного бытия над общественным сознанием, а также о борьбе классов как движителе социального развития. С другой — погружаясь в исторический материал, он вынужден признать: «Московское государство отличалось такой “самобытностью”, благодаря которой даже классовая борьба случаев, служащих источником прогресса, очень часто служила в ней источником застоя»³¹. Ситуация сложилась, согласно Плеханову, так: реформированию положения крестьян по более медленному пути Голицына помешало форсированное реформирование Петра, сильнее их закрепостившему. Так было в истории России не раз, констатировал он, предвидя и новые пароксизмы революционаризма.

В заключении второго тома отмечается, что при Петре было 2 раскола: первый — старообрядческий «как один из видов националистической реакции против поворота Московского государства на Запад», а второй — связанный с «новыми философами» (как их иронично именовал С. Яворский, который ввел

метафору «ученая дружина») ³². В числе приверженцев таковых был Д. Тверитинов, читавший — следуя заветам лютеран — самостоятельно Библию, критиковавший иерархов и ратовавший за веротерпимость. Первых Пётр обложил налогами, идеи второго не поддержал напрямую.

Как отмечает Плеханов, фигуры западников появились еще при Петре, а их контуры оформлялись до него. В целом они, признавая полезность европейских форм, ратовали за большие права аристократии. В дальнейшем противостоявшее им служилое дворянство идентифицировало себя с «российским шляхетством» — слоем между родовитыми фамилиями и крестьянством. Взяв самоназвание из Польши, его представители все же осуждали присущую полякам анархию. В качестве организованной силы шляхетства при этом выступила гвардия — мотор послепетровских переворотов.

И все же в начале царствования Анны Иоанновны над ними были поставлены «верховники» — аристократы с их «кондициями», то есть условиями, предполагавшими ограничение самодержавия. Они, следуя традиции упомянутого западничества, требовали «воли себе прибавить», тогда как надо было прибавить ее всему обществу ³³. Верховный совет, включавший 5, а затем 8 носителей высоких фамилий, продержался недолго, а «кондиции» были разорваны.

Для их характеристики Плеханов привлек появившийся уже в начале ХХ в. термин, вспоминая опыт своей политической борьбы с единомышленниками-марксистами. «Верховники надеялись победить самодержавие посредством закулисной интриги. Они страдали «боярским “большевизмом”» ³⁴, — не без горечи констатирует он. Просвещенная часть дворянства сознавала, что западная «воля» лучше старой русской неволи, но «ученая дружина», вызванная к жизни Петровской реформой, всецело и как-то изоциренно сочувствовала самодержавию. В 1730 г. она доказала это делом: Ф. Прокопович, А. Кантемир и В. Татищев не пошли за верховниками, которые стремились хоть как-то ограничить самодержавие, а совершили все, чтобы поддержать Анну Иоанновну. Последний из них, даже «... составляя конституционный проект, в то же самое время считал нужным упорно оспаривать противников самодержавия» ³⁵, — удивляется Плеханов.

Приведем заключительные положения второго тома труда Плеханова по истории идей: «У нас же и в XIX веке в среде прогрессистов долго не исчезало то убеждение, что правительство должно и может идти впереди “общества”. В этом заключается одна из относительных особенностей развития нашей общественной мысли, коренящихся в относительных особенностях нашего исторического процесса» ³⁶.

Третий том посвящен развитию (Плеханов благоразумно употребляет слово «движению») русской мысли после Петра I и до Екатерины II, причем наиболее яркий мыслитель ее времени А. Радищев в книге лишь упоминается. Анализ заканчивается фигурой историка И. Болтина; как видно, Радищев был отнесен в следующий из 4 анонсированных томов (шла речь и о 10 томах). Источниковая база тома — изящная литература, точнее, выражение политических экспектаций писателей, в первую очередь Д. Фонвизина, а также наказ Екатерины, документы Комиссии об Уложении и т.д. Мастерство Плеханова как историка идей (в отличие от Иванова-Разумника и Масарика) сводится к тому, что он на крайне скудной почве источников выявлял и циркуляцию ключевых идей, и их социально-психологические параметры, заодно метко характеризую фигуры их трансляторов.

Позднее петровское и раннее послепетровское время характеризуется доминированием сатиры, причем крайне острой, и ключевое имя здесь — поэт А. Кантемир. Он обличал жадность и неумеренность, притеснения и бесчувственность верхов, мало касаясь положения низов. Сатира эта была крайне нужна.

Тем не менее книга к печати была подготовлена к 1743 г., а вышла лишь в 1762 г. — после того, как появились переводы его произведений на немецкий и французский языки. Причина в том, что высшие круги не принимали обличений на свой счет — они были не совсем грамотны для этого, точнее, грамотны, но по своему, а средние дворяне обязаны были служить, а не размышлять.

Драматург А. Сумароков наметил другую линию: адресовать свои оды, а затем пьесы монарху и, прославляя его добродетели, внушить мысль о необходимости поддержки добродетелей общественных. Сатира в этих условиях не исчезала, а отходила на второй план. Правда, и тот, и другой даже не помышляли посягать на дворянское сословие. Кантемир обличал православное духовенство, а Сумароков выступал против католицизма.

Плеханов описывает попытки еще одного «литератора» — Екатерины II — наладить диалог с просветителями. Этот диалог как бы покрывал многие «плачи холопов», в числе которых были не только крестьяне; изобличал он и проекты экономических преобразований, в числе создателей которых был такой незаурядный мыслитель, как Болотов.

Екатерина считала себя ученицей Дидро и Вольтера, но часто спорила с ними. И, по свидетельству графа Сегюра, она так ответствовала на упреки первого в медленном продвижении реформ (в частности, в связи с Наказом): «Вы работаете на бумаге, которая все терпит... между тем как я, бедная императрица, работаю на человеческой коже, которая гораздо более чувствительна»³⁷. Что имелось в виду, сама Екатерина не объясняет; ясно — что не только телесные наказания для крестьян (и не только крестьян). Плеханов же пишет о ее особой чувствительности к дворянской коже: на привилегии тех, кто возвел ее в императрицы, Екатерина не посягала. Крепостное право в этих условиях лишь «цивилизованно» укреплялось: даже зоркий взгляд Дидро не замечал попирания личного достоинства крестьян, а его идеи о свободе дворяне использовали для расширения диапазона своих привилегий и даже причуд.

Фонвизин подхватил эстафету сатиры от Кантемира, но поначалу в «Бригадире» и «Недоросле» обличал пороки своего класса. После путешествия во Францию он начал говорить по-другому: там доминирует-де вольность по праву — так считалось до революции 1789 г., в России же наличествует действительная вольность³⁸.

После революции параметры диалога России с Западом изменились: просветители отходили на второй план, а приверженцы их идей в России начали подвергаться пока что мягким притеснениям. Зазвучал мотив: «мы родились, в то время, когда Запад умирает»³⁹ (он приобрел особое развитие уже в XIX веке). Со стороны же мыслителей Запада появилось убеждение, что в России — отсталой стране — разуму как раз легче одерживать победы, а просвещенный абсолютизм как форма политической организации в наилучшей степени этому способствует. Так считал в XVIII в. Дидро (до него Ю. Крижанич, а после него, к примеру, Дж. Сорос).

Место Плеханова в истории идей определяется признанием марксистского детерминизма на словах и выходом за его рамки — на деле. В этом плане особо значим его анализ феномена Смуты. Согласно Плеханову, «поворот к Западу» был непростым делом, несущим угрозы России, хотя данное признание историка-марксиста давалось ему с трудом. Он отмечал, что после Смуты Европе было не до России. Действительно, в XVI в. Англия вовлекалась в революцию, закончившуюся гибелью короля, а Франция дальше Польши (и в ее рамках Украины) не смотрела. В Германии закончилась Тридцатилетняя война, чреватая беспрецедентными людскими потерями. Петру уже в конце этого века пришлось выбирать в качестве образца успокоенную Голландию. Таких метких обобщений о соотношении идей России и Европы в книге Плеханова более чем достаточно.

Особенно примечательны его взгляды на траектории соотношения России и Европы в XVIII веке. В его начале Россия прорубала окно в Европу: вектор движения шел с Востока на Запад. В течение века наблюдалось некое равновесие, связанное с расширением империи на юг (в итоге русско-турецких войн), восток (вплоть до освоения североамериканских берегов) и запад (за счет разделов Польши). С конца XVIII в. уже Европа начала прорубать дверь в Россию (Евразию) — нашествие Наполеона с дальней мыслью отнять у Англии Индию — наиболее ярко демонстрирует эту попытку (было нашествие еще одного Наполеона — в 1853 г. через Крым). Ко времени завершения трехтомника ожидалось новое проникновение — уже австро-венгро-немецкое при содействии совсем недавних междоусобных врагов турок и болгар.

Текст Плеханова можно назвать в чем-то образцовым в плане сочетаемости описаний времен и времени описания. По этому параметру его труд можно считать классическим в отечественном варианте истории идей. Ценность книги Плеханова лишь возрастает со временем, хотя ссылки на нее обнаруживаются с трудом. На наш взгляд, это одно из последствий сегодняшнего сдвига предметной области истории идей к западным образцам ее репрезентации и интерпретации.

Варианты истории идей, изложенные Ивановым-Разумником, Масариком и Плехановым, побуждают к размышлениям в разных, даже противоположных, направлениях. Да и сами их создатели зачастую нарочито игнорировали друг друга. Масарик лишь походя упоминал Иванова-Разумника в звании «историка литературы», а Плеханова представлял как «марксиста-ортодокса»; в свою очередь, Плеханов ни слова не сказал о труде Масарика, хотя и написал рецензию на его монографию о марксизме; о перепалке русских авторов мы уже говорили. Такое тотальное незнание не может не вызвать вопрос: почему именно в это время появились все три фундаментальных труда? На что они указывали и что предвидели? И почему о них так долго не вспоминали?

Сама ситуация, когда выходят три равномогущие работы фактически на одну и ту же тему, весьма примечательна в плане того, что можно условно назвать метаисторией идей. Появлению этих трудов способствовала некая констелляция (взаимная расположенность) социально-политических факторов и дат. В их числе: неудачная война 1904—1905 гг. и неудачная революция 1905—1907 годов. Не следует забывать и приближавшееся 300-летие дома Романовых, на что едва ли не напрямую указывал Масарик. На историческом же горизонте выявлялись контуры первой мировой войны и революций в России — Февральской, а затем и Октябрьской. История идей и их столкновений, описанная тремя незаурядными социальными мыслителями, в этом плане приобретает новое — прогностическое — измерение.

Поразительно, что после выхода трудов Иванова-Разумника, Масарика и Плеханова такого рода фундаментальные разработки не появлялись ни в России, ни в Европе, а если появлялись значительно более мелкие труды, то они были идеологически сверхангажированными. Отечественный вариант истории идей как предметной области исследований почти на целый век был отправлен в некий архив. На его месте сегодня возникла традиция, связанная с «великой цепью бытия» (Лавджой), имеющая отдаленное отношение к одному из примечательнейших феноменов — духовному развитию России, манифестируемому в ее художественной литературе. Она — одно из высших эстетических достижений человечества и своеобразное проявление крайне нетривиальной социальной мысли с, казалось бы, перманентно убийственной самокритикой.

Игнорирование такого факта, как участие отечественных исследователей, а также Масарика в становлении предметной области история идей побуждает тщательнее рассмотреть ключевые положения данных трудов хотя бы в первом приближении. И надеяться, что дальнейшая их проработка не заставит себя ждать.

Примечания

1. ИВАНОВ-РАЗУМНИК. История русской общественной мысли. Т. 1—3. М. 1997; МАСАРИК Т.Г. Россия и Европа. Т. 1. СПб. 2000; Т. 2. СПб. 2004; Т. 3. СПб. 2003; ПЛЕХАНОВ Г.В. История русской общественной мысли. Т. 1—2. М. 1918; Т. 3. М. 1919.
2. Теория и методология исторической науки. Терминологический словарь. М. 2014, с. 191—192.
3. ИВАНОВ-РАЗУМНИК. Ук. соч., т. 3, с. 309.
4. ПЛЕХАНОВ Г.В. Избранные труды. М. 2010, с. 535—536. При этом с замечанием Тютюкина о том, что работа демонстрирует столкновение двух тенденций, начал — европейского и азиатского (там же, с. 537), вряд ли стоит соглашаться в полной мере: во-первых, Плеханов часто пишет, что Россия всего лишь отстает от Европы, во-вторых, «свое» азиатство есть в любой европейской стране — недаром французы называли своих ближайших соседей-немцев «гуннами» и в ходе военных столкновений, и при сравнении культурных парадигм..
5. Лавджой приводит и другие образцы «материализации» идей через литературные веяния, мы ограничимся «доморощенным» примером. «Тургеневские девушки» были придуманы, считал Л. Толстой, но затем они реализовались и вызвали к себе любовь и уважение. Князь П. Кропоткин в своих мемуарах буквально утверждал, что он выбрал именно такую себе в жены. Это убедительная иррадиация истории идей...
6. ЗАДОРЖНЮК И.Е., КИРЕЕВ С.В. Рейтинговое образование вузов: социологическое обеспечение. — Высшее образование в России. 2016, № 11, с. 63.
7. BERLIN I. Against the current. Essays in the history of ideas. London. 1979.
8. KORFF A. Geist der Goethezeit. Band 1. Sturm und Drang. Leipzig. 1923.
9. ШАМШУРИН В.И. История идей и историческое сознание Дж. Колингвуд и его последователей. — Вопросы философии. 1986, № 5, с. 127—136.
10. История и историки. Некоторые методологические вопросы. Историография исторической мысли. М. 1965, с. 8.
11. ИВАНОВ-РАЗУМНИК. Ук. соч., т. 3, с. 312.
12. Литературная энциклопедия. Т. 4. М. 1934, с. 413.
13. ИВАНОВ-РАЗУМНИК. Ук. соч., т. 3, с. 95.
14. ПЛЕХАНОВ Г.В. Избранные философские произведения. Т. V. М. 1958, с. 606.
15. АБРАМОВ М.А., ЛАВРИК (ЗАДОРЖНЮК) Э.Г., МАЛЕВИЧ О.М. Томаш Гарриг Масарик: жизнь, дело, учение. В кн.: МАСАРИК Т.Г. Ук. соч., т. 2, с. 625.
16. Приведем в этом плане примечательное свидетельство Б. Локкарта (о чехословацком корпусе), которое показывает, что взгляды Масарика на Россию не очень-то принимались во внимание правящими кругами Англии. «В конце концов, чехи были причиной нашего окончательного разрыва с большевиками. Как я желал бы теперь, чтобы президент Масарик находился в России в то тяжелое время! Я убежден, что никогда не дал бы санкций на сибирское восстание. Союзники послушались бы его, и мы избежали бы этой чудовищной авантюры, которая обрекла на смерть тысячи русских и стоила миллионы фунтов золота британскому налогоплательщику». ЛОККАРТ Б. Агония Российской империи. Воспоминания офицера британской разведки. М. 2016, с. 287.
17. МАСАРИК Т.Г. Ук. соч., т. 2, с. 496.
18. Масарик, по числу ссылок на труды Иванова-Разумника, идентифицируемого им как «историк литературы», демонстративно скуп (одна ссылка в основном корпусе труда, т. 1, с. 339; 2 — в третьем томе: с. 342, 385—386). Плеханов упоминается им еще реже и только в связи с его политическими пристрастиями. Конечно, проигнорировать наличие фундаментального труда по истории русской общественной мысли Масарик не мог. Но он не ставил задачу объяснить, чем же противостояние по линии индивидуализм — мешанство отличается от противостояний демократия — теократия, Фейербах — монах и, естественно, Россия — Европа. В противном случае пришлось бы признать, что некоторые идеи чешского филосо-

фа Масарика повторяют подобные всего лишь «историка литературы» Иванова-Разумника.

19. МАСАРИК Т.Г. Ук. соч., т. 2, с. 510.
20. Там же, с. 547.
21. Там же, т. 1, с. 106.
22. Так, М. Вишняк, эсер и секретарь Учредительного собрания 1918 г., проникательно заметил, что практически все входящие в него революционные партии стремились захватить власть в нем, не особо считаясь с конституционными процедурами. Это удалось большевикам, но узурпировали бы власть, по его мнению, и кадеты, и эсеры, и другие партии; даже сам Плеханов допускал такую возможность для меньшевиков. ВИШНЯК М.В. Дань прошлому. Нью-Йорк. 1954.
23. МАСАРИК Т.Г. Ук. соч., т. 2, с. 586.
24. ПЛЕХАНОВ Г.В. История русской общественной мысли, т. 1, с. 4.
25. Там же, с. 7.
26. Там же, с. 204.
27. Там же, с. 286.
28. Указанная выше инвариантность — достояние отечественной истории и XX века. Когда знакомишься с анализом Плеханова феномена Смуты, возникает впечатление, что это рассказ и о революциях 1917 г., а казус верховничества всякий раз просматривается в смене власти и в 1927, и в 1953, и в 1964, и в 1991 годах. В этом плане труд Плеханова — поистине новаторская работа.
29. ПЛЕХАНОВ Г.В. История русской общественной мысли, т. 2, с. 2.
30. Там же, с. 6—7.
31. Там же, с. 10.
32. Там же, с. 237.
33. Там же, с. 249.
34. Там же, с. 260.
35. Там же, с. 266.
36. Там же, т. 2, с. 268.
37. Там же, т. 3, с. 126.
38. Такая лукавая идеализация со времен этого амбивалентного сатирика стала некой константой русской общественной мысли: не только Фонвизин писал о правах и свободах: славны-де бубны за горами; то же говорили в XIX в. и другие отечественные мыслители, а в XX — А. Солженицын. А там — недалеко до восхвалений русской старины и поисков в ней «отечественной» формулы прогресса.
39. ПЛЕХАНОВ Г.В. История русской общественной мысли, т. 3, с. 240.